

*Посвящается ныне живущей
реинкарнации Аракса*

Пролог

На фоне неба темнела громада Великой Пирамиды; над ее вершиною нависла луна. Подобно разбитому кораблю, выброшенному на берег титаническим штормом, Сфинкс будто бы плыл по безграничным волнам сероватого песка. Уже много тысячелетий с неизменной суровостью бесстрастно наблюдал он за тем, как проходят века и эпохи, возвышаются и рушатся империи, живут и умирают бесчисленные поколения людей; вдруг на какое-то мгновение его лик, казалось, утратил обычное выражение созерцательной мудрости и глубокого презрения — холодный взгляд опустился, угрюмый рот почти изогнулся в улыбке.

Ночь была тихой и знойной, и ни один человеческий шаг не нарушал тишину. Едва же время приблизилось к полуночи, раздался Голос: точно ветер пустыни, взвился он, восклицая: «Аракс! Аракс!» — и из потаенных глубин огромной египетской гробницы откликнулось ему полнозвучное эхо.

Лунный свет и Время сплетали свою тайну — тайну Тени и Образа, что тонкой туманной струйкой просочился из врат древнего храма Смерти, скользнул на несколько шагов вперед и обрел види-

мую прелесть Женщины: Женщины, чьи длинные волосы струились за спиной, словно почернелые обрывки погребальных пелен на давно захороненном покойнике; Женщины, чьи глаза сверкнули нечестивым огнем, когда она запрокинула голову к полной луне и взмахнула призрачной рукой. И вновь прорезал тишину неукротимый Голос:

— Аракс! Аракс! Ты здесь,
И я преследую тебя! Из жизни —
В смерть; из смерти — снова в жизнь!
Ищу тебя! Иду я за тобой!
Лишь за тобой, Аракс!..

Лунный свет и Время сплетали свою тайну; но вот бледно-опаловый рассвет окрасил небо первыми отблесками розового, и Тень исчезла. Вместе с ней умолк и Голос. Солнце неспешно вздымало над горизонтом край золотого щита, и великий Сфинкс, словно пробудившись от краткой дремы, вновь с извечной своей суровостью смотрел на песчаные барханы и ряды пальмовых крон, уходящих к сверкающему куполу Эль-Хазара — обители глубокого благочестия и учености, где люди и по сей день преклоняют колени, молясь, чтобы Неведомый избавил их от Незримого. Право, могло бы показаться, что высеченное из камня Чудище с загадочным ликом Женщины и телом Льва размышляет сейчас о чем-то невиданном и неслыханном. Вот уже сияющий день расцвел над пустыней, озарив каменные черты нежным шафрановым сиянием, а Сфинкс все усмехался жестокой усмешкой, точно готовясь раскрыть уста и изречь ужасную загадку былых времен — по истине убийственную Загадку!

Глава 1

Каирский «сезон» был в разгаре. Вездесущий англичанин и не менее вездесущий американец уже позаботились насадить на этой песчаной земле, омываемой водами Нила, свои «общественные приличия», а теперь неустанно трудились над тем, чтобы низвести город, когда-то носивший славное имя Аль-Кахира — Победитель, — на дно такого прискорбного рабства, какому едва ли обрекал покоренные народы любой из древних завоевателей. Тяжкое иго современной моды легло на шею Аль-Кахира; необоримая, тираническая власть снобизма и вульгарности покорила Победителя. Возможно, смуглые дети пустыни готовы были идти на бой с завоевателями за свободу жить и умереть на своей никем не тронутой земле, но что могли они поделать против агентства Кука, обещающего «путешествия по сходной цене», против вежливых улыбок, белых шлемов, солнечных очков и неистребимого запаха пота? Только оставаться бесстрастными и почти безмолвными.

Ибо до наших дней — славных дней просвещения и прогресса — еще не являлось миру ничто, подобное «путешественнику по сходной цене», этому

новомодному кочевнику, и похожему, и непохожему на человека. В сем человеческом типе, как нигде более, проявляется правота теории Дарвина — в его непоседливости, в чисто обезьяньей подвижности и любопытстве, в бесстыдной назойливости, с которой он задает вопросы, в старательной очистке себя от иностранных блох, в постоянном внимании к самым ничтожным мелочам, в неутолимом аппетите; так что трудно различить, где здесь кончается обезьяна и начинается человек. Образ Божий, которым, как мы привыкли думать, он был наделен вместе со своими товарищами в первые дни Творения, словно бы оказался полностью смыт, так что в этом смертном облике не осталось ни следа Божественного. Да и следы второй фазы Творения — подобия Божьего или, иначе говоря, героизма — не облагораживают его вид и не украшают выражение лица. Ровно ничего нет героического в беспокойном двуногом, что, облаченный в белую фланель, бродит по улицам Каира, щелкает по носу терпеливых осликов, сдаваемых здесь внаем для перевозки грузов, просовывает красную потную физиономию в тенистые закоулки ароматных базаров, а вечерами прогуливается в садах Эзбекие* — руки в карманах, сигара во рту, — оглядываясь кругом с таким видом, точно оказался на филиале выставки в Эрлс-Корте**.

История ничем не впечатляет «путешественника по сходной цене»: смерив взглядом пирамиду, он

* Огромный сад в европейской части Каира; российским читателям известен по стихотворению Н. С. Гумилева «Эзбекие». — *Здесь и далее примеч. пер.*

** Выставочный и спортивный центр в Лондоне.

цедит: «Ничего так, с размахом строили!», а неприглядный лик Сфинкса он превращает в мишень для пустых бутылок из-под содовой — и, кажется, более всего жалеет о том, что гранит, из коего вытесано тело древнего чудовища, слишком тверд и на нем не получается выцарапать собственное славное имя. Верно, за подобные дела тут полагается наказание — штраф или битье палками по пяткам; однако ни штраф, ни палочный бой не устрашат туриста, которому приспичило вырезать на подбородке у Сфинкса: «Здесь был Арри!» Увы, такого счастья ему не дано. Иными словами, в Египте он ведет себя так же, как в Маргейте*, проявляя не больше вдумчивости, серьезности и уважения, чем имелось во дни оны у его отдаленного хвостатого предка.

Впрочем, в целом он, пожалуй, не хуже, а быть может, чем-то и лучше тех жалких созданий, что «покоряют» Египет — или, точнее, расслабленно позволяют Египту покорять себя. Это те, что каждый год стаями покидают Англию, твердя, что не в силах переносить веселую, морозную, во всех отношениях здоровую зиму своей родины: зиму с суровыми ветрами, со снегом и сверкающей на солнце изморозью, с остролистом, усыпанным алыми ягодами, с веселыми охотниками, день-деньской скачущими по полям и болотам, с огнем, пылающим в камине долгими вечерами, ту, что радовала наших предков и помогала им в крепком здоровье и довольстве дожить до старости в те времена, ког-

* Прибрежный город на юго-востоке Англии, популярный туристический центр.

да охота к перемене мест оставалась для англичан еще неведомой хворью и дом был поистине «милым домом». Пораженные странными заболеваниями крови и нервными расстройствами, которым и самые ученые врачи едва подбирают названия, при первом же дуновении холодного ветерка они начинают дрожать и, нагрузив чемоданы тысячами ненужных вещей, без коих, привыкнув к роскоши, уже не мыслят своего бледного существования, отбывают в Страну Солнца и везут с собой бесчисленные хворобы, немощи и неисцелимые болезни, для которых не то что в Египте — и в Раю не найти лекарства. И стоит ли удивляться, что эти физически и морально немощные отпрыски рода человеческого давно оставили всякую серьезную заботу о том, что станет с ними после смерти, да и будет ли *там* какое-то «потом»? Они пребывают в той умственной летаргии, что предшествует полной гибели сознания: все их существование — сплошная скука, все места похожи одно на другое, и одну и ту же монотонную жизнь ведут они везде, где собираются, на севере, юге, западе или востоке. На Ривьере они не знали бы, куда себя девать, не будь к их услугам «Дома Румпельмайера» в Каннах, «Лондон-Хатуса» в Ницце или казино в Монте-Карло; а в Каире воспроизводят в миниатюре лондонский «сезон» с обычной рутинной ужинов, танцев, поездок, пикников, ухаживаний и помолвок. Впрочем, в глазах местного «света» каирский сезон, пожалуй, обладает преимуществом перед лондонским: здесь люди меньше стеснены условностями. Можно, знаете ли, «расслабиться»! Например, отправиться пешком в Старый Каир и, завернув за угол, наткнуться на

сценку в духе того, что Марк Твен именует «восточной простотой», — а именно на живописную группу «наших дорогих прелестных арабов», одетых так скудно, как только позволяют им примитивные местные традиции. Такого рода «живые картины» или «очаровательные сценки» порождают у каиро-английского общества трепет новизны, щекочат их ощущением дикости и самобытности, какой не встретишь в модном Лондоне. Что же касается самих Детей Пустыни — они постепенно усвоили, что, привечая в своем краю иноземную саранчу, завезенную сюда Куком, а также еще более странных насекомых, собирательно именуемых «светским обществом» и в Линнеевой классификации отсутствующих, получают за это бакшиш.

Бакшиш — источник утешения для всех народов; на все языки это слово переводится самыми сладкозвучными именами, и Дети Пустыни, пожалуй, по справедливости требуют за каждую мелочь столько, сколько всеми правдами и неправдами могут вытянуть. Они заслужили получать от толп пришельцев с Запада, с невероятными на их вкус костюмами и попросту оскорбительными манерами, хоть какую-то выгоду! Вот почему бакшиш превратился в вечный девиз Детей Пустыни: он — единственное оставленное им средство защиты и нападения, неудивительно, что они цепляются за него с такой яростью и решимостью. И можно ли их винить? Высокий, величественный, задумчивый араб, что походит на высшее существо, даже когда стоит босиком на песчаной земле своей родины, в одной лишь грубой повязке вокруг чресел, и прямо, порлиному, смотрит черными глазами на солнце, —

определенно заслуживает компенсации за согласие поработать гидом и слугой на богатого приезжего, который оборачивает ноги трубами из ткани, отчего они начинают напоминать слоновьи, а завершает свой изящный силуэт накрахмаленной сорочкой, в которой едва может шевельнуться, и сюртуком, что перерезает его фигуру пополам и делает на несколько дюймов ниже. Сын Пустыни взирает на него угрюмо, с состраданием к падению собратчеловека, порой беззвучно шепчет молитву, прося Аллаха оградить его от этого уродства; однако в целом относится к нему терпеливо и хладнокровно, предвкушая бакшиш.

Легкий и безвкусный, словно взбитый яичный белок, кружится и пенится английский «сезон» на таинственной земле древних богов — страшной земле, полной неразгаданных темных секретов; земле, по Библии, «осененной тенью крыл»; земле, хранящей в своих недрах неслыханные истории, глубочайшие тайны сверхъестественного, лабиринты ужаса, трепета и загадок... только все это скрыто от пляшущей, жующей, болтающей толпы светских туристов, что живут как во сне, «стараясь не думать, дабы слишком себя не утруждать», а путешествие мыслят лишь как переезд из гостиницы в гостиницу, с тем чтобы потом сравнить свои записи с рассказами знакомых и обсудить, где лучше всего кормят. Примечательный факт: путешественники по прославленным местам Европы и Востока, как правило, больше всего интересуются кухней, постелью и личными удобствами, а красота пейзажей и исторические воспоминания стоят для них на последнем месте. Прежде бывало наоборот. В те

времена, когда не существовало железных дорог и бессмертный Байрон слагал «Чайльд-Гарольда»*, персональные удобства ценились очень мало: путешественника привлекала красота или историческая слава того или иного места, а не особые приманки для пищеварительного аппарата. Байрон мог спать на палубе корабля, завернувшись в плащ, и прекрасно себя чувствовать: мужество и стремление к высокому возносили его над любыми телесными неудобствами; он погружался умом в великие учения своего времени; в размышлениях об уроках прошлого и возможностях будущего умел забывать о себе; смотрел на мир как вдохновенный Мыслитель и Поэт, и ломоть хлеба с сыром служил ему в странствиях по нетронутым долинам и горам Швейцарии не хуже, чем служат нам подогретые, жирные, неудобоваримые блюда из многостраничных меню в Люцерне и Интерлакене.

Мы почитаем себя высшими существами, байроновский дух равнодушия к происшествиям и презрения к бытовым мелочам высмеиваем как «мелодраматический» — и вовсе не замечаем, до чего убого и жалко наше собственное отношение к вещам и к самим себе. Написать «Чайльд-Гарольда» мы не способны: зато как умеем ворчать из-за номера и стола в каждом отеле на земле; и отыскивать неприятную мошкарку на улице и сомнительных насекомых в комнатах; и каждый предъявленный нам

* «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812—1818) считается величайшей поэмой Джорджа Гордона Байрона. В 1809—1811 годах Байрон совершил двухлетнее путешествие по Южной Европе, Балканам и странам арабского Востока, оказавшее огромное влияние на его творчество.